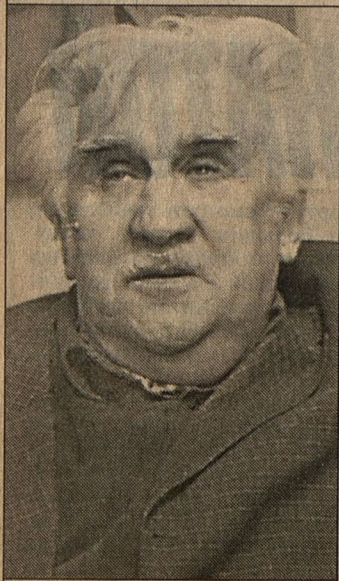


«ТАИНА ЖИЗНИ»

ВЛАДИМИРА НЕМУХИНА



Владимир БОНДАРЕВ

Про Владимира Немухина уже все сказали: **шестидесятник, признанный мастер художественного авангарда.** Последние десять лет Немухин в Москве бывает наездами (по полгода проводит в Германии). Написал-наговорил книгу воспоминаний и собирается выпустить продолжение.

Дарья АКИМОВА

Смотрю из чужого окна на чужое небо и вижу — за граница: уплотненное пространство, упорядоченное бытие. Здесь, на рейнской земле, все по-другому. Сам Рейн не похож на родную для меня Оку — другого стиля жизни река: ухоженная, обустроенная...*

— Когда вы поняли, что вам не хватает свободы?

— Я все время вспоминаю, как много лет назад в Сухуми один знакомый мне предложил: «Пойдем перепелок бить». Я говорю: «То есть как это? И потом — у меня ружья нет». — «Нет, ружья не надо, бери мешок, палку и пойдем». — «Я никого не собираюсь убивать, ты только объясни: в чем дело?» — «А вон там, на горе, кустов много, перепелки там прячутся, ночью не видят ничего, и их бьют». И действительно, утром пришел на базар, а там связками продают битых перепелок. Оказывается, перепелки собираются в Сухуми и именно там решают: лететь или не лететь дальше на юг? Те, кто про себя знают, что не долетят, — остаются. И их тогда добивают палками. Понимаете, мне это тогда казалось

очень символичным: вот они улетели, а нам достанется палка.

— Ощущение дома на Западе утрачивается?

— Да. И это очень серьезно. Нас, русских художников, за границей теперь много, куда ни заглянешь, на одно-два русских имени да наталкиваешься. Но думаю, что это хорошо, ведь национальное лицо никуда не исчезло, просто теперь оно не «выпирает», а «просматривается».

— Вы как-то написали, что не любите слово «мы»...

— Не люблю. Оно от социума. От «силы коллективизма». Мне оно очень напоминает сороконожку, которая, слава богу, не задумывается, с какой ноги шагать, иначе упадет. Я не знаю, что будет дальше с нашим обществом: придет оно к «я» или вернется к «мы». Но «мы» — это ужасное состояние. Авангард — и соц-арт в частности — тем и отличается от соцреализма: соцреализм — искусство коллективное. А соц-арт — это индивидуальность.

По натуре своей я с детства был человеком общительным, но рано за собой подметил, что мне часто и подолгу надо быть одному. Что когда я один — я полный, подлинный, а когда в коллективе, со всеми вместе — не полный...*

— Среди индивидуальностей были близкие вам художники?

— Близость шла от дружбы: Рабин, Штейнберг, Харитонов, Плавинский... Вейсберг меня порадовал своим монашеством в искусстве, он был — раб Божий! Его страдания были сродни страданиям Владимира Яковлева и Анатолия Зверева. Эти три гениальных шизофреника утвердили в нашем «здоровом» обществе такую «мудрую детскость». Она всегда — укор «человеку внешнему».

— Вам интересно мнение публики о вас?

— Да. Но меня все время мучают вопросом: а почему вы пишете игральные карты? По-моему, это они меня выбрали, а не я их. Пюнтера Юккера (немецкий художник, он пользуется гвоздями в работах) я как-то, не удержавшись, спросил: «А почему гвозди?» Он ответил: «Господин Немухин, я же вас про карты не спрашиваю». Но рассказал: оказывается, он всегда любил острые предметы, в детстве бегал с деревянным копьём по берегу моря, пронзая неживые предметы. И карандаши заточивал острейшим

образом, чтобы были похожи на иголки. И бумагу все время протыкал.

Я не мистик, не игрок, но уже связал судьбу с картами, никуда не денешься. Помню, приехали как-то в Сибирь, и друзья начали меня подначивать: Володя, ну и что ты тут делать будешь, тут карт нет. «Не волнуйтесь, будут», — отвечаю. Мы пошли прогуляться в городской парк, а там стоит монумент участникам войны, и вокруг кто-то разбросал карты. Что это — мистика? Случайность? Абсурд?

Вокруг меня сейчас народ все больше умный, примечательный, книжный, а между тем многие жизнь свою устроить не могут. Все нужна, да охи, да вздыхания о бренности сущего. Мол, жизнь человеческая, как ни крути, абсурд. А по мне, в этом абсурде и заключено то самое сокровенное, тайна жизни.*

— Вы когда-нибудь упрекали в чем-нибудь Бога?

— Нет, никогда. Это я говорю не из страха перед Ним. Просто Он единственный человек, который всегда рядом.

— Друзья и близкие — это помощь или испытание?

— Близких уже нет, кроме жены и дочки. Да и вообще все отношения как-то пошатнулись. Знакомые недавно пригласили меня к себе, хозяйка представляет еще одного гостя: вот Коля, молодой авангардист, а это Владимир Николаевич — старый авангардист. Мне приятно встретить молодого авангардиста, протягиваю руку, а в ответ руки не подает. Я как-то смутился. А он мне: «О! А ты еще жив, старикашка? Тебя еще не вынесли?» — «Ты знаешь, отвечаю, — в дверях не прошел. Застрял».

А потом он мне сказал: «Ваше поколение — оно как у Окуджавы: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». А мы одиночки!»

Да, в шестидесятые годы мы действительно сбивались в стаи — России вообще всегда была свойственна тяга к жизни «всем миром». А сегодня желательнее быть единственным и первым.

«То время» — шестидесятые — существовало в особом измерении, в особом пространстве, где искусство было явлением общественно значимым, отдушиной... Поэтому то и возник художественный андерграунд. Оттого-то и восприни-

мался он властями так серьезно и столь враждебно.*

— О детстве и войне вы вспоминаете реже, чем о «шестидесятничестве»?

— Наверное. Мы в войну остались с мамой, отца забрали в армию. Вспоминаю дом, завод, на котором работал: семь дней в неделю, по двенадцать часов, с восьми утра до восьми вечера, потом — с восьми вечера до восьми утра, и так всю войну. Ходил в школу рабочей молодежи. В 1942-м сказал себе: буду художником. Пошел в изостудию ВЦСПС.

Москва была тогда большим проходным двором — все заборы истоплены в морозные ночи в буржуйках. Разруха, голодуха, музеи закрыты. Единственная выставочная площадка — Кузнецкий, 11 — и та закрыта! Но это еще не самое трудное в жизни. Это можно преодолеть. Вот с мерзостью бы расстаться...

— Что вы подразумеваете под «мерзостью»?

— Удовольствие от самого делания гадостей. Вот хоть самый простой пример. Я никакой не конкурент Шилову, никакой ему не враг. Ну абсолютно. Я его просто не понимаю. Он с удовольствием вспоминает о своей встрече с Суловым, который жалуется: к сожалению, нам приходится покупать Пикассо, потому что он коммунист. Ну вот это мерзость. Непонятно, ради чего она.

Или Глазунов. Он, конечно, очень последователен в своей позиции, еще году в 54-м говорил: «Русское искусство — это православие, самодержавие, народность». Но зачем паясничать на сцене и говорить о Пикассо как о художнике «фигли-мигли»... Пикассо — французский художник, почему он им жить не дает? Ведь нигде и никогда никто из нашего поколения не высказывался против реализма!

Не знаю, чем это можно объяснить, может, все теми же особенностями загадочного русского менталитета, но всегда, даже в самые глухие и душные времена, были люди, которые смотрели на мир по-иному, думали не так, как положено, и не боялись делиться своими мыслями.*

— Вы сами сталкивались с завистью?

— Зависть — очень жгучая страсть, искусству она свойственна. Однажды я позавидовал

Коллекционеру Георгию Дионисовичу Костаски — он в преклонном возрасте стал заниматься живописью и написал потрясающую символическую картину! Представьте: ранняя весна, вечер, опушка леса, на заднем плане — голубая церквушка, а на переднем плане стоят три ангела. И вдруг перед ними — проталины, а через них проступают «Черный квадрат» Малевича, картина Ивана Клона и композиция Любови Поповой — он ее работы очень любил.

— Что выше — любовь или искусство?

— Любовь. Сколько бы вы картин ни написали, сколько бы вы скульптур ни изваяли, ни-че-го не будет в вашей жизни значительнее любви. Женщина и мужчина — это невероятно, никто и ничего этому не может противопоставить.

— А вы часто влюблены?

— Любовь никогда не проходит. Сколько бы тебе лет ни было — да хоть сто! Просто иногда ты сам себе ни за что не признаешься, что любишь.

Время не восстанавливает то, что мы утрачиваем, и когда горечь потерь становится чересчур едкой, в вопросе «А кого я любил больше всего?» появляется интонация, которая отдается болью.*

— Вы любите читать мемуары?

— Да. Мы ведь все так далеко друг от друга, мы все мифотворцы, мы все себя прячем глубоко-глубоко в капсулу — да так, что отсюда нас никто не может достать! А мемуары помогают пробиться внутрь, там ведь столько всего напрягано! Я помню, как в 88-м году носился по Парижу с утра до ночи, вглядывался — искал все то, о чем дома читал в воспоминаниях.

К одному своему другу я долго приставал: вот мы столько говорим с тобой — может, ты это все запишешь? А он мне: «Старик, это не мое дело. Смерть о нас все знает, а мы-то сами о себе ничего не знаем».

— Значит, ничего безусловного и абсолютного в нашей жизни нет?

— Мы туда, в вечность, с собой ничего не возьмем. Даже то, что нам здесь было дорого — ни рукописи, ни холсты, ни швейную машинку. Так что будем любить то, что пока есть.

* — из книги Мерка Уральского «Немухинские монополии»

Немухин Владимир
(Хорошенький)

09.02.
(сент.)